

Татьяна Константиновна Разумова

Всё, что здесь написано – это отрывочные детские воспоминания. Прошло уже очень много лет, но военное время запомнилось мне, очевидно, навсегда.

К началу войны наша семья состояла из 4 человек: папа – доцент Горного Института, неработающая мама, мой старший брат Олег 11-ти лет и я. Мне шел 9-й год, и я окончила 1-й класс. То, что мы с мамой прожили в Ленинграде всю войну, связано с рядом обстоятельств. Перед самой войной моего отца взяли на военные сборы, и он автоматически остался в армии после 22-го июня. Сначала он был в лагере под Ленинградом, а потом попал в батальон аэродромного обслуживания на фронтовом аэродроме, вначале под Калинин (Тверью). Мы летом 41-го жили под Ленинградом на даче в деревне недалеко от станции Волховстрой. Перед самой войной заболел мой брат, как потом оказалось аппендицитом, но вначале деревенский фельдшер поставил другой диагноз. Поэтому, когда началась война, мама оставила брата под присмотром тети в деревне и поехала со мной в Ленинград за теплыми вещами. Город мне показался странным, так как все окна были заклеены крест накрест полосками бумаги, но ничего особенно страшного пока не было. Обстановка была такая, что мы не смогли выехать назад, но отец (к счастью, его лагерь был недалеко от нашей деревни) сумел вывезти брата и тетю в город на воинском эшелоне. Как ему это удалось, я вовремя не успела спросить у него, а теперь спрашивать некого. В Ленинграде брата подержали два дня в больнице, но не стали оперировать и отпустили домой. Мама много времени проводила в поисках продуктов, и за братом некому было следить. Так получилось, что он попрыгал с мячом. Это привело к беде – начался гнойный аппендицит и прободение брюшины, операцию сделали, но из-за перитонита брат умер. Это случилось 8-го августа 41-го. Я до сих пор считаю его жертвой войны. На маму эта трагедия произвела такое сильное впечатление, что она не смогла до конца своих дней избавиться от этой боли. В течение трех-четырех месяцев она каждый день писала папе по открытке. Он их все сохранил и привез домой. Перед смертью мама дала мне их прочитать, а потом уничтожила. Все эти тексты полны воспоминаниями и мыслями о произошедшем с братом. Я думаю, что из-за смерти брата мы и не поехали в эвакуацию вместе с Горным Институтом.

Когда начались первые полеты немецких самолетов над Ленинградом, мы, дети, бежали по звуку сирены в подвал четырехэтажного флигеля, где оборудовали бомбоубежище, но тогда еще никакой бомбежки в нашем районе не было. Один раз мы увидели, что сверху летят какие-то бумажки. Это были немецкие листовки, мы этого еще не понимали, подобрали их и попытались прочитать. Помню, что одна женщина сказала нам: «Бросьте их, девочки, это нехорошо». В сентябре мы пошли в школу, но учились недолго – не стало ни тепла, ни света. После закрытия школы мама пыталась учить меня дома, но по-прежнему много времени у нее занимали либо поиски еды, либо оборонные работы на окопах и заготовка дров при разборке деревянных домов. Я помню, как она съездила с матерью моей подруги Марго в пригород, и они привезли мешок хряпы (внешние темнозеленые капустные листья). Квартира у нас была коммунальная, из 6-ти комнат, жили там 5 семей, всего 13 человек. Из них 5 человек эвакуировалось, а четверо стариков умерло в первую блокадную зиму. Умершие были все родственники – три сестры – Анастасия Константиновна, Александра К-на и Антонина К-на Голубевы, в прошлом балерины из кордебалета Мариинского театра, и муж четвертой – Марии К-ны, оставшейся в живых, – архитектор и управляющий нашим домом до революции, его звали Алексей Константинович Максимов. По его проекту был до революции построен соседний с нашим дом с паровым отоплением. В начале блокады к нему приходили и спрашивали, как лучше выводить трубы от маленьких печек-«буржоек», которыми тогда все отапливались. Эти старики были очень хорошие люди, они много возились до войны с нами, детьми, читали нам классиков и кое-что рассказывали. Мама, самая молодая из жильцов, и отвозила их тела в большое здание «Стеклянного рынка», где собирали умерших, которых потом хоронили в братских могилах. Во время ночных бомбежек в сентябре и октябре все жильцы нашей квартиры выходили из комнат в переднюю, а в комнатах тушили электрический свет. Иногда я стояла в темной комнате и смотрела на полосы света от прожекторов, слушала гул самолетов и разрывы зенитных снарядов. Это было страшно, но и любопытно. Мы очень скоро по тембру гула научились отличать немецкие самолеты от наших, так как у немцев гул был какой-то прерывистый, а у наших – непрерывный. Один раз я увидела огромное зарево – горело что-то очень большое. Я думаю теперь, что это были бадаевские продовольственные склады. В конце концов, мы с мамой остались одни в нашей большой квартире. На наше счастье у нас зимой все стекла оставались целыми и были довоенные запасы дров, так как в доме было печное отопление. Мы перенесли эти дрова к себе в комнату, и мама откуда-то принесла «буржуйку». Труба «буржуйки» входила в дверцу нашей большой печки. Эта печурка и обогревала, как могла, нашу комнату во время всей блокады, на ней же грели воду для еды и для мытья. Водопровод не работал, и за водой ходили на речку Смоленку. Вода была сравнительно чистая, так как канализация тоже не работала. Все нечистоты выносили ведрами прямо во двор, зимой вся лестница покрылась коркой льда от пролитых случайно нечистот. Освещались мы маленькой копилкой, но откуда бралось горючее, я не помню, возможно, это были какие-то остатки керосина для довоенного примуса. Зимой 41-42 года, в самое страшное и очень холодное время, я не выходила на улицу и днем непрерывно читала, сидя у окна, благо книг в доме было много, да слушала

радиотрансляцию, которая была включена всё время. Во время бомбежки передач не было, звучал лишь метроном. В бомбоубежище мы уже не ходили, так как они были залиты водой из лопнувших в морозы труб. Это был период, когда наши войска отступали, и время от времени по радио передавали известия о сдаче очередного крупного города. Я почему-то на всю жизнь запомнила фразу «сегодня наши войска оставили город Харьков». Были дни, когда мама одевала меня как можно теплее, и мы шли к маминой младшей сестре тете Кате. Транспорт не работал, и мы шли с Васильевского острова на Петроградскую сторону пешком. Морозы были страшные (за 40 градусов), и мама завязывала мне лицо платком так, что видны были только одни глаза. В результате этих походов я поморозила ноги, наверное, довольно сильно, так как это сказывалось потом еще не один год. По дороге я всегда смотрела на многоэтажный дом, расколотый бомбой. Остатки мебели в срезанных пополам комнатах напоминали театральные декорации. Тетя Катя – учитель математики, жила с дочкой Ритой 12-ти лет в большой коммунальной квартире, дядя был в армии. В этой квартире в первую блокадную зиму умерли 7 человек, среди них и моя 34-летняя тетя. У нее было воспаление легких и так называемый голодный понос, при котором организм не усваивает пищу. Такие люди были обречены. В феврале к нам домой пришел летчик, который приехал из папиной части вывозить на Большую землю семьи офицеров. Он попросил маму походить по их адресам и выяснить, кто жив. В одной из таких квартир мама нашла совершенно ослабевшую женщину. Ее успели вывезти на самолете, и она выжила! Папа потом рассказал, что ее вынесли из самолета на руках. На предложение уехать мама ответила, что без сестры она никуда не поедет, летчик зашел, посмотрел на тетю Катю и сказал, что она не выдержит дороги. Так мы опять никуда не поехали из Ленинграда. Когда стало ясно, что тетя заболела очень серьезно, мы с мамой перешли жить к ним и прожили там дней 10. Тетя умерла 2-го марта 42-го. Умирала она в полном сознании, а мы стояли втроем перед ее кроватью и молчали. Перед концом она произнесла только одну фразу: «Клена, не оставь Риту». Это была первая смерть, которую я видела так близко. Потом мама заперла комнату и повела нас с Ритой на Васильевский. Через несколько дней мама с Ритой пошли пешком на Серафимовское кладбище (это в Старой деревне) хоронить тетю, ее похоронили рядом с Олегом. Я считаю, что мама совершила просто подвиг, похоронив тетю в индивидуальной могиле. Я думаю, что она отдала могильщикам тетины продовольственную и хлебную карточки на март месяц. Может быть, это помогло кому-нибудь из них выжить. Я во время похорон оставалась дома и решила сходить за водой. Взяла кастрюлю и открыла дверь на лестницу, и там я вдруг увидела своего папу. Оказывается, он прилетел на три дня в Ленинград. Это было такое счастье! Потом я долгое время считала эту кастрюлю счастливым талисманом. Я сказала папе, что мама с Ритой хоронят тетю Катю на Серафимовском. И тогда он сказал, что пойдет им навстречу. Получилось так, что, спускаясь по темной лестнице, он их увидел, но не узнал и пошел дальше, дошел до самого кладбища и вернулся назад уже вечером. Все эти долгие часы мы его ждали и боялись, что с ним что-нибудь случится. Потом мы сидели у нашей печурки и распекали на ней черные солдатские сухари, которые папа привез с собой, это было совершенно восхитительно!

Когда наступила весна 42-го, взрослых мобилизовали чистить от снега и нечистот улицы и дворы. Мы, дети, с удовольствием вылезли на солнце и, как могли, помогали нашим мамам. Это, вероятно, спасло нас всех от заразы и болезней. Бульвар перед нашим домом поделили на поперечные полоски и вскопали, получилось по две грядки на семью. Я помню, что у нас там рос турнепс. Очень многие собирали молодую крапиву на Смоленском кладбище. К нам в квартиру летом 42-го вселили женщину из разрушенного дома, она собирала и варила лебеду в огромной кастрюле и все время повторяла, что скоро умрет. Но она выжила и долго жила в нашей квартире после войны. Весной 42-го начались сильные артиллерийские обстрелы. Немцы педантично стреляли по отдельным кварталам города. В один из таких обстрелов снаряд попал в мою школу, стоящую напротив нашего дома. С начала войны там был госпиталь. У нас при этом вылетели все стекла в доме. В это время мы сидели втроем (Марго, Рита и я) за шкафом, отделявшим кровать от остальной комнаты. После разрыва снаряда мы увидели яркие блики на нашей кафельной печке и услышали звон разбитых стекол. Когда после обстрела мы вышли на улицу, она вся была покрыта битыми стеклами, а раненые в госпитале костылями выбивали осколки из разбитых окон в палатах. Мама потом забивала окна во всей квартире разными одеялами и шторами. Я помню, что в конце 42-го в нескольких дворах открыли водопроводные колонки, и мы ходили за водой в другой квартал с ведрами на санках. Один раз мы, три девочки, поехали за водой и попали в жуткую бомбежку. Наши мамы в это время бежали к нам, прячась от милиционеров по парадным (ходить по улице во время бомбежек запрещали). Весной 42-го в Ленинграде снова открыли школы, и я пошла во 2-й класс. Нас поучили месяца полтора и устроили контрольные по математике и русскому языку. Тех, кто получил хорошие отметки, перевели в следующий класс, так я перешла в 3-й класс. Но мы все были явными недоучками, так, перейдя в третий класс, я не умела делить в столбик. Мама, правда, меня сразу же научила, как это делать. Получилось так, что с весны 42-го до 45 года я каждый год училась в разных школах (почему – не знаю). Помню, что во время бомбежек и обстрелов учителя спускались с нами в подвал школы, у каждого учителя был фонарь «летучая мышь», и каждый класс сидел около своего фонаря и слушал рассказы учительницы. В школе нас подкармливали – в 42-ом давали по два сырника из соевого творога и по стакану соевого молока. Наверное, это была для нормальных условий очень невкусная еда, но мы ее всегда ждали. В 43-ем в школе уже были дрова. Нянечка в школе была одна, поэтому всю заготовку дров для печки (напилить, наколоть, принести в класс) делали дежурные из класса, а топила нянечка. Дежурили мы четвером. Полы тоже мыли дежурные. В конце 44-го в школах стали вводить усиленное детское питание, мы сдавали свои карточки и ели в столовой, а на выходные

получали сухой паек, даже сахарный песок. В 44-ом летом из армии демобилизовали преподавателей вузов, папа вернулся в Ленинград и должен был ехать в Сибирь, куда был эвакуирован Горный Институт. В это время в Ленинграде жизнь уже была не такая страшная, как в предыдущие годы, и родители решили, что мы с мамой в Сибирь не поедem. Папа уехал один и вернулся в Ленинград с Институтом в начале 45-го.

После прорыва блокады были организованы детские летние лагеря, куда направляли детей по спискам жилищных контор. Мы с сестрой и с Марго были в таких лагерях в 43, 44 и 45 годах. Это были довоенные пионерские лагеря в местах бывших боев, и мальчишки часто находили остатки оружия, мины и гранаты. В двух лагерях, где мы были, несколько мальчиков подорвались на этих находках, когда пытались их «вскрыть».

Помню, как впервые увидела колонну пленных немцев, это было, кажется, в году 44-ом. Вид у них был очень жалкий, и кто-то из прохожих женщин дал одному из них кусок хлеба. Мне кажется, что ни сильной злости, ни злорадства у большинства прохожих, видевших пленных, они не вызывали. Они молча проходили мимо нас, мы молча смотрели. Я думаю, что это можно объяснить тем, что жители Ленинграда прямо со зверствами конкретных людей не сталкивались, все наши беды были связаны с некоторым обобщенным врагом-немцем-фашистом. Летом 45-го у нас в летнем лагере при кухне состояли два пленных венгра. Тогда было затмение солнца, и эти пленные коптели для нас стекла на костре, чтобы смотреть на солнце. У этих молодых ребят вид уже был совсем не жалкий и, скорее, довольный. Наверное, им в нашем лагере было совсем неплохо.

Как мы выжили зимой 41-42 годов, я не знаю. Думаю, что, в первую очередь, благодаря силе духа мамы. Очевидно, очень большую роль сыграло то, что у нас были дрова. У нас не было запасов продовольствия, и мы жили тем, что давали по карточкам. После того как мы остались одни в квартире, мы обыскали все закоулки на кухне, но нашли только половину стакана панировочных сухарей, нашли еще несколько засохших огрызков черного хлеба, который мы с братом до войны не хотели есть с супом и тайком прятали под столешницу обеденного стола. Все это мы очистили от пыли и червячков и съели. Съели мы и остатки столярного клея. Однажды мама испекла лепешки из кофейной гущи и решила сначала попробовать сама. В результате она сильно отравилась и с трудом оправилась от этой «еды». Как-то раз нам выдали по карточкам костяную муку, ее мы почему-то ели сухой. Один раз мы получили привезенную летчиком посылку от папы – конские ребра, десяток солдатских сухарей и стопочку из 10 квадратных кусочков масла – папины пайки в военной столовой. Я помню, что мне иногда снились сны о еде, чаще всего сгущенное молоко с сахаром, которое я один раз попробовала до войны. Иногда я мечтала, что всё, что происходит – это сон. Я проснусь, и всё будет снова так, как было до войны. У мамы весной 42-го начали появляться фурункулы на голове, а потом и на пальцах рук. В результате у нее начался остеомиелит, и один палец ей наполовину удалили. Хотя мама и мыла меня дома время от времени, всё же зимой 43-го у меня в волосах появились вши, и меня остригли наголо – это было единственное средство от них избавиться. И сейчас я храню маленькую фотографию не то девочки, не то мальчика с короткой челкой на стриженной под нуль голове и в ватнике – эту карточку мне сделали в одном из фотографических ателье, которые снова открылись в городе. Это моя единственная фотография, которая была сделана в блокадные годы.